



СТЕФАН ЦВЕЙГ

ДВАДЦАТЬ
ЧЕТЫРЕ ЧАСА
ИЗ ЖИЗНИ
ЖЕНЩИНЫ

Классика на все времена

Стефан Цвейг

**Двадцать четыре часа
из жизни женщины**

«СОЮЗ»

1927

Цвейг С.

Двадцать четыре часа из жизни женщины / С. Цвейг — «СОЮЗ»,
1927 — (Классика на все времена)

В респектабельном пансионе на Французской Ривьере разразился неслыханный скандал: тридцатилетняя замужняя женщина, мать двоих детей – мадам Анриэт, жена одного из постояльцев, сбежала с молодым человеком, с которым была знакома не более одного дня. Это происшествие напоминает пожилой англичанке миссис К. другую историю любви. Много лет назад в казино Монте-Карло она встретила мужчину, который за двадцать четыре часа изменил всю ее жизнь.

Стефан Цвейг

Двадцать четыре часа из жизни женщины

Stefan Zweig

«VIERUNDZWANZIG STUNDEN»



AUS DEM LEBEN EINER FRAU»

© ИП Воробьев В.А.

© ООО ИД «СОЮЗ»

WWW.SOYUZ.RU

За десять лет до войны я отдыхал на Ривьере, в маленьком пансионе, и вот однажды за столом вспыхнул жаркий спор, грозивший кончиться настоящей ссорой со злобными выпадами и даже оскорблениями. Большинство людей не отличается богатым воображением то, что происходит где-то далеко, не задевает их чувств, едва их трогает; но стоит даже ничтожному происшествию произойти у них на глазах, ощутимо близко, как разгораются страсти. В таких случаях люди как бы возмещают обычное свое равнодушие необузданной и излишней горячностью.

Так было и в нашей добропорядочной компании, за обедом мы вели small talk [*Непринужденная беседа (англ.) – Здесь и далее примич. ред.*], мирно перекидывались легкими шутками и, встав из-за стола, тотчас расходились в разные стороны: немецкая чета отправлялась с фотоаппаратом на прогулку, добродушный датчанин – к своим скучным удочкам, английская леди к своим книгам, супруги-итальянцы спешили в Монте-Карло, а я бездельничал, развалившись в плетеном кресле, или садился за работу. Но на этот раз мы сцепились в бурной перепалке, и если кто-нибудь внезапно вскакивал, то не для того, чтобы вежливо откланяться, а в пылу спора, который, как я уже сказал, принял под конец самый ожесточенный характер.

Событие, так взбудоражившее наш маленький застольный кружок, действительно было из ряда вон выходящим. Пансион, где жили мы семеро, производил впечатление частной виллы, и какой чудесный вид открывался из наших окон на прибрежные скалы. На самом же деле он был только частью большой гостиницы «Палас-отель» и соединялся с ней садом, так что мы, хотя и жили особняком, находились в постоянном общении с обитателями отеля. Так вот в этом отеле накануне разыгрался крупный скандал. С дневным поездом в двенадцать двадцать (необходимо точно указать время, ибо оно важно для происшествия и играло роль в нашем жарком споре) прибыл молодой француз и занял комнату с видом на море; уже одно это говорило о том, что он человек со средствами. Он обратил на себя внимание не только своей элегантностью, но, прежде всего, необычайно привлекательной внешностью: удлиненное женственное лицо, шелковистые светлые усы над чувственными губами, мягкие, волнистые каштановые волосы с кудрявой прядью, падавшей на белый лоб, бархатные глаза – все в нем было

красиво какой-то мягкой, вкрадчивой красотой. Держался он предупредительно и любезно, но без всякой нарочитости и жеманства. Если он и напоминал на первый взгляд те раскрашенные восковые манекены, которые, с щегольской тростью в руке, гордо красуются в витринах модных магазинов как воплощенный идеал мужской красоты, то вблизи впечатление фатоватости рассеивалось, потому что его неизменно приветливая любезность (редчайший случай!) была естественной и казалась врожденной. Скромно и вместе с тем сердечно приветствовал он каждого, и было приятно смотреть, как на каждом шагу просто и непринужденно проявлялись его изящество и благовоспитанность. Он спешил подать пальто даме, направляющейся в гардероб, для каждого ребенка находился у него ласковый взгляд или шутка, был он обходителен, но без малейшей развязности; короче говоря, это был, видимо, один из тех счастливых, которым уверенность, что всех пленяет их ясное лицо и юношеское обаяние, придает еще большую привлекательность. На людей пожилых и болезненных, а их здесь было большинство, его присутствие влияло благотворно. Своей свежестью, жизнерадостностью, победной улыбкой юности, которая свойственна неотразимо обаятельным людям, он сразу же завоевал всеобщую симпатию.

Через два часа после своего приезда он уже играл в теннис с дочерьми толстенького благодюшного фабриканта из Лиона – двенадцатилетней Аннет и тринадцатилетней Бланш, а их мать, хрупкая, изящная, сдержанная мадам Анриэт, с легкой улыбкой наблюдала, как ее неоперившиеся птенчики бессознательно кокетничают с молодым незнакомцем. Вечером он около часа смотрел, как мы играем в шахматы, рассказал несколько забавных анекдотов, долго прогуливался по набережной с мадам Анриэт, – муж ее, как всегда, играл в домино со своим приятелем, фабрикантом из Намюра, – а поздно вечером я застал его в полутемной конторе отеля за интимной беседой с секретаршей. На следующее утро он сопровождал датчанина на рыбную ловлю, обнаружив при этом поразительные познания, затем долго беседовал с лионским фабрикантом о политике и, видимо, также показал себя интересным собеседником, ибо сквозь шум прибоа слышался раскатистый хохот толстяка фабриканта. После обеда (я намеренно, для ясности, так подробно сообщаю о его времяпрепровождении) он опять просидел около часа с мадам Анриэт в саду, за черным кофе, потом играл в теннис с ее дочерьми, беседовал в вестибюле отеля с немецкой четой. В шесть часов я пошел на вокзал отправить письмо и вдруг увидел его. Он поспешил мне навстречу и, как бы извиняясь, сказал, что его неожиданно вызвали, но через два дня он вернется. За ужином он действительно отсутствовал, но только физически, так как за всеми столиками только и говорили что о нем, и все превозносили его приятный, веселый нрав.

Вечером, часов около одиннадцати, – я сидел у себя в комнате, дочитывая книгу, – вдруг в открытое окно, выходящее в сад, донеслись крики, взволнованные возгласы, и в отеле поднялась какая-то суматоха. Скорее обеспокоенный, чем подстрекаемый любопытством, я тотчас же спустился в сад и прошел пятьдесят шагов, отделявших нашу виллу от отеля; там я застал гостей и прислугу в необычайном волнении. Мадам Анриэт не вернулась с прогулки на берегу, которую она совершала каждый вечер, пока ее супруг, по заведенному порядку, играл в домино со своим приятелем. Опасались несчастного случая. Словно буйвол, метался по берегу этот обычно медлительный, грузный человек, и когда он кричал во тьму: «Анриэт! Анриэт!» – в его срывающемся от волнения голосе было что-то первобытное и страшное, напоминающее рев раненного насмерть огромного зверя. Кельнеры и мальчишки-бои носились, вверх и вниз по лестнице; разбудили всех живущих в отеле, позвонили в полицию. А толстый человек в расстегнутом, жилете кидался во все стороны и бессмысленно выкрикивал в темноту: «Анриэт! Анриэт!» Проснулись девочки и, стоя у окна в ночных рубашках, звали мать. Отец поспешил наверх, чтобы их успокоить.

И тут произошло нечто ужасное, что почти не поддается описанию, ибо в минуты чрезмерного душевного напряжения во всем облике человека столько трагизма, что не передать ни пером, ни кистью. Толстяк спустился по стонущим под его тяжестью ступеням с изменив-

шимся, бесконечно усталым и вместе с тем гневным выражением лица. В руке он держал письмо.

– Верните всех, – сказал он управляющему еле слышным голосом. – Верните людей, ничего не нужно. Жена ушла от меня.

У этого смертельно раненного человека хватило выдержки, нечеловеческой выдержки, не показать своего горя перед столпившимися вокруг людьми, которые с любопытством на него глазели, а потом, испуганные, смущенные, пристыженные, от него отвернулись. Собрав последние силы, он прошел, ни на кого не глядя, в читальню и потушил там свет; потом мы услышали, как его тучное, грузное тело с глухим стуком опустилось в кресло, и до нас донеслись громкие, отчаянные рыдания, – так мог плакать только человек, никогда в жизни не плакавший. И это стихийное горе потрясло нас всех, даже самого ничтожного из нас. Ни один кельнер, никто из привлеченных любопытством гостей не осмелился улыбнуться или проронить слово соболезнования. Безмолвно, один за другим, словно пристыженные этим сокрушительным взрывом чувства прокрались мы в свои комнаты, а там, в темной читальне, наедине с самим собой, всхлипывал этот убитый горем человек, пока один за другим гасли огни в доме, полном шепотов, шорохов и вздохов.

Естественно, что такое происшествие, разразившееся как удар грима у нас на глазах, сильно взволновало людей, привыкших к однообразному и беззаботному времяпровождению. Но хотя причиной тех ожесточенных стычек, которые возникли за нашим столом и чуть не привели к взаимным оскорблениям действием, и явился этот удивительный случай, суть спора была в глубоких разногласиях, в столкновении противоположных взглядов на жизнь. Благодаря нескромности горничной, прочитавшей письмо, которое супруг, не помня себя, в бесильном гневе скомкал и швырнул на пол, стало известно, что мадам Анриэт уехала не одна, а сговорившись с молодым французом (симпатии к которому у большинства теперь быстро убывали).

На первый взгляд не было ничего удивительного в том, что эта вторая мадам Бовари бросила своего толстого провинциала мужа ради элегантного молодого красавца. Но все в доме были сбиты с толку и возмущены известием, что ни фабрикант, ни его дочери, ни даже сама мадам Анриэт никогда раньше не видели этого ловеласа, и, следовательно, достаточно было двухчасовой вечерней прогулки по набережной и одного часа за черным кофе в саду, чтобы побудить тридцатитрехлетнюю порядочную женщину на другой же день бросить мужа и двоих детей и последовать очертя голову за совершенно незнакомым человеком. Этот, казалось бы, очевидный факт был единогласно отвергнут нашим застольным кружком; все усмотрели здесь вероломство и хитрый маневр любовников: само собой разумеется, мадам Анриэт уже давно находилась в тайной связи с молодым человеком, и этот сердцеед явился сюда лишь для того, чтобы окончательно условиться о побеге. Совершенно невозможно, утверждали все, чтобы честная женщина после трехчасового знакомства вдруг сбежала по первому зову. Развлечения ради я начал спорить и энергично защищал возможность и даже вероятность такого внезапного решения у женщины, которая, томясь в долголетнем скучном супружестве, в душе готова уступить первому смелому натиску. Мои неожиданные возражения подлили масла в огонь, и спор сразу стал всеобщим; особенно разгорелись страсти, когда обе супружеские пары, как немецкая, так и итальянская, с прямо-таки оскорбительным презрением принялись отрицать *coup de foudre* [*Любовь с первого взгляда; буквально – удар молнии (франц.)*] как нелепость и пошлую романтическую выдумку.

Нет нужды излагать все подробности словесного боя, длившегося от супа до пудинга. За табльдотом остроумны только заправские остряки, а доводы, к которым прибегают в пылу случайного застольного спора, большей частью банальны и приводятся наспех, наобум. Трудно также объяснить, почему наш спор так быстро принял столь язвительный оборот, – думается, тут сыграло роль невольное желание обоих супругов исключить возможность такого легко-

мыслия и подобной опасности для своих жен. К сожалению, они не придумали ничего более удачного, чем возразить мне, что так может говорить только тот, кто судит о женщинах лишь по случайным, дешевым победам холостяка; это уже разозлило меня, а когда вдобавок немка начала авторитетным тоном поучать меня, что бывают настоящие женщины, а бывают и «проститутки по натуре», к которым, по ее мнению, принадлежит и мадам Анриэт, терпение мое лопнуло, и я в свою очередь перешел в наступление.

Я заявил, что лишь страх перед собственными желаниями, перед демоническим началом в нас заставляет отрицать тот очевидный факт, что в иные часы своей жизни женщина, находясь во власти таинственных сил, теряет свободу воли и благоразумие, и добавил, что некоторым людям, по-видимому, нравится считать себя более сильными, порядочными и чистыми, чем те, кто легко поддается соблазну, и что, по-моему, гораздо более честно поступает женщина, которая свободно и страстно отдается своему желанию, вместо того чтобы с закрытыми глазами обманывать мужа в его же объятиях, как это обычно принято. Вот примерно то, что я говорил, и чем яростней нападали другие на бедную мадам Анриэт, тем с большей горячностью я ее защищал (что, но правде сказать, не вполне отвечало моему внутреннему убеждению). Мои слова, точно уколы рапирой, задели за живое обе супружеские пары, и они нестройным квartetом так ожесточенно напустились на меня, что старый добродушный датчанин, наблюдавший за нами, словно судья с секундомером в руке на футбольном матче, был вынужден время от времени предостерегающе постукивать по столу: «Gentlemen, please» [*Господа, прошу вас (англ.)*]. Но это помогало лишь на минуту. Один из супругов, красный как рак, уже раза три вскакивал из-за стола, и только уговоры жены едва сдерживали его пыл; еще немного – и дискуссия окончилась бы потасовкой, если бы миссис К. внезапно не пролила масло на бурные волны нашего спора.

Миссис К., представительная, пожилая англичанка с белоснежными волосами, по молчаливому уговору была почетной председательницей нашего стола. Она держалась очень прямо, была одинаково приветлива со всеми, говорила мало, но с интересом прислушивалась к разговорам окружающих: уже одна ее наружность оказывала благотворное действие. От нее веяло спокойствием и аристократической сдержанностью. Она ни с кем близко не сходилась и в то же время выказывала каждому знаки внимания; большей частью она сидела с книгой в саду, иногда играла на рояле и лишь изредка присоединялась к обществу или вела оживленный разговор. Ее присутствие было едва ощутимо, и, однако, мы все невольно подчинялись ей. И сейчас, как только она заговорила, нам стало очень стыдно, что мы так шумно и необузданно вели себя.

Миссис К. воспользовалась паузой, наступившей после того, как немец резко вскочил и тут же, по слову жены, покорно уселся на свое место. Она вдруг подняла свои ясные серые глаза, как-то нерешительно посмотрела на меня и потом деловито и четко по-своему уточнила предмет нашего спора:

– Итак, если я верно поняла вас, вы считаете, что мадам Анриэт... что женщина может быть вовлечена в неожиданную авантюру, что она может совершать поступки, которые за час до того ей самой показались бы немыслимыми и в которых ее нельзя винить?

– Я в этом убежден, сударыня, – ответил я.

– В таком случае вы отрицаете всякое мерило нравственности, и любое нарушение морали может быть оправдано. Если вы действительно считаете, что *crime passionel* [*Преступление, вызванное страстью (франц.)*], как говорят французы, не преступление, то выходит, что государственное правосудие вообще излишне. Тогда без особого труда – а вы трудитесь на совесть, – добавила она с улыбкой, – можно обнаружить страсть в любом преступлении и оправдать его этой страстью.

Она говорила спокойно, почти весело, и это так понравилось мне, что я, невольно подражая ее деловитому тону, ответил полушутя-полусерьезно:

– Государственное правосудие решает такие вопросы, несомненно, строже, чем я: его долг – охранять общественную нравственность и благопристойность, и это вынуждает его осуждать, вместо того чтобы оправдывать. Я же, как частное лицо, не считаю нужным брать на себя роль прокурора: я предпочитаю профессию защитника. Мне лично приятнее понимать людей, чем судить их.

Ясные серые глаза миссис К. с минуту в упор смотрели на меня; она медлила с ответом. Я подумал, что она не все поняла, и уже собирался повторить ей сказанное по-английски, но она вновь стала задавать мне вопросы с удивительной серьезностью, словно экзаменуя меня.

– Разве, по-вашему, не позорно, не отвратительно, что женщина бросает своего мужа и двоих детей, чтобы последовать за первым встречным, не зная даже, достоин ли он ее любви? Неужели вы действительно можете оправдать такое легкомысленное и беспечное поведение уже не очень молодой женщины, которой хотя бы ради детей следовало вести себя более достойно.

– Повторяю, сударыня, – ответил я, – что я отказываюсь судить или осуждать. Вам я могу чистосердечно признаться, что я немного пересоллил бедная мадам Анриэт, конечно, не героиня, даже не искательница сильных ощущений, и менее всего смелая, страстная натура. Насколько я ее знаю, она лишь заурядная, слабая женщина, к которой я питаю некоторое уважение за то, что она нашла в себе мужество отдаться своему желанию, но еще больше она внушает мне жалость, потому что не сегодня-завтра она будет очень несчастна. То, что она сделала, было, может быть, глупо и, несомненно, опрометчиво, но ни в коем случае нельзя назвать ее поступок низким и подлым. Вот почему я настаиваю на том, что никто не имеет права презирать эту бедную, несчастную женщину.

– А вы сами? Вы все так же уважаете ее? Вы не проводите никакой грани между порядочной женщиной, с которой вы говорили позавчера, и той, другой, которая вчера бежала с первым встречным?

– Никакой. Решительно никакой, ни малейшей.

– It that so? [*Так ли? (англ.)*] – невольно произнесла она по-английски; по-видимому, разговор необычайно ее занимал. После минутного раздумья она снова вопросительно посмотрела на меня своими ясными глазами.

– А если бы завтра вы встретили мадам Анриэт, скажем в Ницце, под руку с этим молодым человеком, поклонились бы вы ей?

– Конечно.

– И заговорили бы с ней?

– Конечно.

– А если... если бы вы были женаты, вы познакомили бы такую женщину со своей женой, как будто ничего не произошло?

– Конечно.

– Would you really? [*В самом деле? (англ.)*] – снова спросила она по-английски, и в ее голосе прозвучало недоверие и изумление.

– Surely I would. [*Конечно, да (англ.)*] – ответил я ей тоже по-английски.

Миссис К. молчала. Казалось, она напряженно думала. Внезапно и как бы удивляясь собственному мужеству, она сказала, взглянув на меня:

– I don't now, if I would. Perhaps I might do it also. [*Не знаю, как бы я поступила. Может быть, так же (англ.)*]

И с той удивительной непринужденностью, с какой одни англичане умеют учтиво, но решительно оборвать разговор, она встала и дружески протянула мне руку. Ее вмешательство водворило спокойствие, и в глубине души все мы, недавние враги, были признательны ей за то, что угрожающе сгустившаяся атмосфера разрядилась; перекинувшись безобидными шутками, мы вежливо откланялись и разошлись.

Хотя наш спор и закончился по-джентельменски, но после той вспышки между мною и моими противниками появилась известная отчужденность. Немецкая чета держалась холодно, а итальянцы забавлялись тем, что ежедневно язвительно осведомлялись у меня, не слыхал ли я чего-нибудь о «сага signora Henrietta» [*Дорогой синьоре Энриэтте (итал.)*]. Несмотря на внешнюю вежливость, сердечность и непринужденность, прежде царившие за нашим столом, безвозвратно исчезли.

Ироническая холодность моих противников была для меня особенно ощутима благодаря исключительному вниманию, какое оказывала мне миссис К. Обычно на редкость сдержанная, не склонная к разговорам с сотрапезниками во внеобеденное время, теперь она нередко заговаривала со мной в саду и – я бы даже сказал – отличала меня, ибо хотя бы короткая беседа с ней была знаком особой милости. Откровенно говоря, она даже искала моего общества и пользовалась всяким поводом, чтобы заговорить со мной; это было так очевидно, что мне могли бы прийти в голову глупые, тщеславные мысли, не будь она убеленной сединами старухой. Но о чем бы мы ни говорили, наш разговор неизбежно возвращался все к тому же, к мадам Анриэт; казалось, моей собеседнице доставляло какое-то непонятное удовольствие обвинять в непостоянстве и легкомыслии забывшую свой долг женщину. Но в то же время ее, видимо, радовало, что симпатии мои неизменно оставались на стороне хрупкой, изящной мадам Анриэт и что меня нельзя было заставить отказаться от этих симпатий. Она неуклонно возвращалась к этой теме, и я уже не знал, что и думать об этом странном, почти ипохондрическом упорстве.

Так продолжалось пять или шесть дней, и она все еще ни единым словом не выдала мне, почему эти разговоры так занимают ее. А в том, что это именно так, я окончательно убедился, когда однажды на прогулке упомянул, что мое пребывание здесь приходит к концу и что я думаю послезавтра уехать. На ее обычно невозмутимом лице отразилось волнение, и серые глаза омрачились.

– Как жаль, мне еще о многом хотелось поговорить с вами.

И с этой минуты, по овладевшей ею рассеянности и беспокойству, я понял, что она всецело поглощена какой-то мыслью. Под конец она сама, казалось, это заметила и, прервав беседу, пожала мне руку и сказала:

– Я сейчас не в силах ясно выразить то, что хотела бы сказать. Лучше я напишу вам.

И, против своего обыкновения, быстрыми шагами направилась к дому.

Действительно, вечером, перед самым обедом, я нашел у себя в комнате письмо, написанное ее энергичным, решительным почерком. К сожалению, в молодые годы я легкомысленно обходился с письменными документами, так что не могу передать ее письмо дословно; попытаюсь приблизительно изложить его содержание. Она писала, что вполне сознает всю странность своего поведения, но спрашивает меня, может ли она рассказать мне один случай из своей жизни. Это было очень давно и уже почти не имеет значения для ее теперешней жизни, а так как я послезавтра уезжаю, то ей будет легче говорить о том, что больше двадцати лет волнует и мучает ее. Поэтому, если я не сочту это с ее стороны назойливостью, она просит уделить ей час времени.

Письмо, содержание которого я передаю лишь вкратце, чрезвычайно меня заинтересовало: уже одно то, что оно было написано по-английски, придавало ему какую-то особую ясность и решительность. И все же ответ дался мне нелегко, и я изорвал три черновика, прежде чем написал следующее:

«Я очень польщен вашим доверием и обещаю ответить вам честно, если вы этого потребуете. Конечно, я не смею просить вас сказать мне больше, чем вы сами захотите. Но в рассказе своем будьте вполне искренни передо мной и перед самой собой. Повторяю, ваше доверие я считаю большой для себя честью».

Вечером записка была в ее комнате, и на следующее утро я получил ответ:

«Я с вами согласна – хороша только полная правда. Полуправда ничего не стоит. Я приложу все силы, чтобы не умолчать ни о чем ни перед самой собой, ни перед вами. Приходите после обеда ко мне в комнату... в мои шестьдесят семь лет я могу не опасаться кривотолков. Я не хочу говорить об этом в саду или на людях. Поверьте, мне и так было нелегко на это решиться».

Днем мы виделись за столом и чинно беседовали о безразличных предметах. Но в саду, когда я случайно ее встретил, она посторонилась с явным замешательством, и трогательно было видеть, как эта старая, седая женщина девически робко и смущенно свернула в боковую аллею.

Вечером, в назначенный час, я постучался к ней. Мне тотчас же открыли. Комната тонула в мягком полумраке, горела только маленькая настольная лампа, отбрасывая желтый круг света. Миссис К. непринужденно встала мне навстречу, предложила мне кресло и сама села против меня; я чувствовал, что каждое движение было заранее продумано и рассчитано; и все же, очевидно, вопреки ее желанию, наступила пауза, которая становилась все тягостнее; но я не осмеливался заговорить, так как чувствовал, что в душе моей собеседницы происходит борьба сильной воли с не менее сильным противодействием. Снизу, из гостиной, доносились отрывочные звуки вальса; я усердно вслушивался, стремясь уменьшить гнетущую тяжесть молчания. Видимо, она тоже почувствовала томительно неестественную напряженность затянувшейся паузы, потому что вдруг вся подобралась, как для прыжка, и заговорила:

– Трудно только начать. Уже два дня, как я приняла решение быть до конца искренней и правдивой; надеюсь, мне это удастся. Может быть, вам сейчас еще непонятно, почему я рассказываю все это вам, совершенно чужому человеку. Но не проходит дня и даже часа, чтобы я не думала о том происшествии; я старая женщина, и вы можете мне поверить, что прямо невыносимо весь свой век быть прикованной к одному-единственному моменту своей жизни, одному-единственному дню. Ибо все, что я хочу вам рассказать, произошло на протяжении двадцати четырех часов, а ведь я живу на свете уже шестьдесят семь лет; до одури я повторяю себе: какое это имеет значение, если бы даже один-единственный раз в жизни я поступила безрассудно? Но не так-то легко отделаться от того, что мы довольно туманно называем совестью, и когда я услышала, как спокойно вы рассуждаете о случае с мадам Анриэт, я подумала: быть может, если я решусь откровенно поговорить с кем-нибудь об этом дне моей жизни, придет конец моим бессмысленным думам о прошлом и непрерывному самобичеванию. Будь я не англиканского вероисповедания, а католичкой, я давно бы нашла облегчение, рассказав все на исповеди, но такого утешения нам не дано, и потому я сегодня делаю довольно странную попытку – оправдать себя, поведав вам эту историю. Знаю, все это очень необычно, но вы приняли мое предложение без колебаний, и я благодарна вам за это.

Как я уже говорила, я хочу описать один-единственный день моей жизни, все остальное кажется мне сейчас незначительным и, вероятно, будет скучно для других. То, как я жила до сорока двух лет, можно рассказать в двух словах. Мои родители были богатые лэндлорды, нам принадлежали большие фабрики и имения в Шотландии, и, как все тамошние старые дворянские семьи, мы большую часть года проводили в своих поместьях, а зимний сезон – в Лондоне. Восемнадцати лет я познакомилась с моим будущим мужем, который был младшим сыном в родовитом семействе Р. и десять лет прослужил офицером в Индии. Вскоре мы обвенчались и стали вести беззаботную жизнь людей нашего круга: три месяца в Лондоне, три месяца в поместьях, остальное время – в путешествиях по Италии, Испании и Франции. Ни малейшее облачко не омрачало нашей семенной жизни. Оба мои сына давно уже взрослые люди. Когда мне минуло сорок лет, мой муж внезапно скончался. Он нажил себе в тропиках болезнь печени, от которой и погиб в какие-нибудь две недели. Мой старший сын уже служил тогда во флоте, младший был в колледже, и вот за одну ночь я сразу осиротела, и это одиночество после стольких лет совместной жизни с близким человеком было для меня нестерпимой мукой. Оставаться

еще хоть день в опустевшем доме, где все напоминало о недавней смерти любимого мужа, было неважно, и я решила провести ближайшие годы, пока сыновья не женятся, в путешествиях.

С этого момента жизнь стала для меня бессмысленной и ненужной. Муж, с которым в течение двадцати двух лет я делилась всеми своими помыслами и чувствами, умер, дети не нуждались во мне. Я боялась омрачить их юность своей тоской и печалью. У меня не было ни надежд, ни стремлений. Я поехала сначала в Париж, ходила там от скуки по магазинам и музеям, но город и вещи ничего не говорили мне, людей я избегала, – я была в трауре и не выносила их почтительно соболезнующих взглядов. Я не могла бы рассказать, как прошли эти месяцы бесцельных скитаний; я как-то отупела и словно ослепла, помню только, что у меня все время было страстное желание умереть, но не хватало сил приблизить вожаемый конец.

На второй год моего вдовства и на сорок втором году жизни, не зная, как убить время, и спасаясь от гнетущего одиночества, я очутилась в марте месяце в Монте-Карло. Сказать по правде, я поехала туда от скуки, гонимая томительной, подкатывающей к сердцу, как тошнота, душевной пустотой, которая требует хотя бы незначительных внешних впечатлений.

Чем сильнее было мое душевное оцепенение, тем больше тянуло меня туда, где быстрее вращалось колесо жизни; на тех, у кого нет своих переживаний, чужие страсти действуют так же возбуждающе, как театр или музыка.

Поэтому я нередко заглядывала в казино. Мне доставляло удовольствие видеть радость или разочарование игроков; их волнение, тревога хоть отчасти разгоняли мою мучительную тоску. К тому же, не будучи легкомысленным, мой муж все же охотно посещал игорный зал, а я с каким-то бессознательным пиететом подражала всем его былым привычкам; так и начались те двадцать четыре часа, которые были увлекательнее любой игры и на долгие годы омрачили мою жизнь.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.